
Екатерина Федина

Глухонемая Любовь

Рассказ

Мы лежали на дороге, держась за руки. Вечернее летнее солнце золотило пыльную листву лип по обочинам, небо ласкалось, смеялось с высоты и голубым, бездонным эхом разливался в нем хохот. Я любила тебя, моя дорогая подруга, я любила тебя больше всего на свете. И ты любила меня в ответ. Вечерами, стоило мне показаться на улице, ты стремглав неслась мне навстречу, ты бежала что есть сил, и я так же страстно рвалась к тебе, мы сталкивались грудью, ударяясь друг о друга, кружились, держась за руки, смеялись и скакали впропрыжку. И не было ничего дороже этой любви. Я понимала все, что ты мне говорила на твоем языке. А ты понимала все, что я лопотала тебе на своем.

Когда я вспоминаю свою жизнь, мысленно листая альбом с фотографиями, значимые даты и события не привлекают моего внимания, не вызывают сильных чувств. Может, это происходит оттого, что они, яркие, быстро замыливаются в памяти, и яркость их надоедлива и обыденна. Но шелковистая трава у крыльца дома, сквозь которую сочтася лучи закатного солнца, и сердцевины нежных и прозрачных травинок светятся янтарем, сиреневые шероховатые тени деревьев на бордовой земле, запах цветущей липы и это имя «Эдя», выцарапанное на стекле в подъезде (дурманский автограф тридцатилетней давности, оставленный белобрысым мальчиком, навсегда переехавшим с родителями в Ригу) — память об этом Эдике уже давно стерта, осталась лишь надпись с корявой короной над ней. Эти обыденные мелочи согревают мне сердце каждый день, когда я прохожу мимо. Кем был этот Эдик?.. А Бог его знает... Изогнувшаяся старая липа у входа во двор и ясень, своей подрагивающей от легкого ветра кроной образующий арку... Чувство щемящей тоски вызывают они у меня, как будто они — это и есть самое главное в моей жизни, невысказанное, сердце мое, моя душа.

Нам было по пять лет с моей глухонемой подругой Любой, когда мы, держась за руки, лежали на проезжей части дороги. Я не знаю, зачем легла на дорогу Люба. Но помню, как с радостью от разделенного чувства я легла рядом. И как мы смотрели в небо. Было радостно, но лично мне еще и немного тревожно. Особенно когда нам засигналил КАМАЗ. Я привстала посмотреть на него, а Люба по-прежнему блаженно глядела в голубое небо, и небо все улыбалось и улыбалось ей. Потом мы убегали, водитель матерился нам вслед, было весело и страшно.

Федина Екатерина Александровна родилась в 1981 году в Ленинграде в семье военного врача. Закончила Балтийский федеральный университет им.И.Канта, филологический факультет. Имеет второе образование, преподает живопись в детских художественных студиях в Калининграде. В «Дружбе народов» ее первая публикация.

Потом мы залезли в какой-то сад за розами. И розы были прекрасны, такие желтые, тяжелые и мучительно благоухающие перед грозой, с упругими лепестками, такие большие, не помешающиеся в руках. Потом была гроза. Все стало темно-синим, матовым, а дальше ливень хлестал нещадно, обращая асфальт в глянец, и умирающая лампочка, потрескивая, прощально и красиво розовела в фонаре у дома.

Родители Любы жили на первом этаже, а мы жили на четвертом. Я не помню, отчего мы стали дружить. У меня тогда еще было два друга-мальчика — Алёшка и Олежка. Все втроем они зимой пришли на мой день рождения. И был накрыт такой огромный стол, стол был нам по шею. И я помню, что в красивом графине на столе был сверкающий малиново-красный компот, мама нам разливала компот в хрустальные бокалы и резала торт. И бокалы тоже сверкали. А вообще с мальчиками было неинтересно. Они меня не понимали. Мы как-то раз все вместе нашли копейку на улице и раздумывали — купить на копейку хлеб или спички. Я очень хотела спички, чтобы поджечь снег и посмотреть, как все вокруг загорится и станет красиво. Но Алёшка с Олежкой не восхитились величием моего замысла и почему-то уверяли, что снег плохо горит. Поэтому мы бродили по сугробам и жевали холодный хлеб, который пах снегом.

Был еще побег в мой детский сад в километре от дома. Зима, нас обыскались соседи. Рыдала мама. Вся пятиэтажка стояла на ушах, когда мы беспечно приковыляли обратно во двор со своими саночками. Мы просто решили отправиться гулять сами. Ели снег, сосали сосульки, катались на качелях и радовались жизни.

С Любкой в основном во дворе не дружили. Не понимали ее душевную организацию и что она говорит. А я понимала ее. И мама моя понимала. Когда Любка приходила к нам в гости, она показывала пальцем на рот, и мама ее всегда кормила. По двору Любка бегала часто неопрятная, с зелеными соплями. И если она пачкала лицо, его долго никто не отмывал. Но моя мама отмывала. Однажды мама задала мне моральную дилемму не по годам.

— Подари Любке свою куклу Машу, — попросила мама.

Маша была парной куклой, у нее был друг Петя. В отличие от Пети волосы у Маши были золотистые и настоящие, не выдранные еще расческой. Любка вцепилась в Машу, когда мы играли, и не хотела отдавать. Мама потребовала подарить. Я повозмущалась, но увещеваниям поддалась. Любка ушла от меня с куклой Машей.

— У Любы нет кукол, а у тебя есть, — объяснила мама.

Почему у Любы никогда не было кукол и почему она воровала игрушки у других детей, я поняла значительно позже. Мать ее, симпатичная синеглазая медсестра, была пьющей и гуляющей. Стоило мужу уехать в командировку, она загуливала, а Любка с зелеными соплями одиноко слонялась по двору. Впрочем, слонялась не так уж часто, — ее детский садик был круглосуточным.

Подруга научила меня бесстрашию, которому завидовали даже взрослые шестиклассники, не осмеливавшиеся ходить по бабкиному саду и тырившие ревень через ограду. Но мы с Любкой в свои пять ходили по саду гордо и гордо перекидывали выдранные из грядок овощи трусливым шестиклассникам. Моя Любовь была лучшей. С ее синими в маму глазами и черными как смоль косичками она казалось похожей на маленькую цыганочку.

— Не дружи с этой девочкой, Кэтка, — настоятельно советовала бабушка. — Это нехорошая девочка, вот с этим мальчиком, Лёшай, дружи, Лёша — хороший мальчик.

Бабушка, папина мама, гостила у нас летом. Остальное время она жила в Ленинграде. Бабушка моя была снобом и заботилась о конкретно моей будущности. Мама моя, просто душевная женщина, заботилась о социальной справедливости и мировой гармонии.

Зимой мама гуляла со мной и Любой по сугробам. И у Любы не было варежек, зато руки ее не мерзли. Мои варежки болтались на резинках под рукавами, я не хотела надевать их из чувства солидарности, но пальцы быстро краснели. Зима стояла

снежная, с трескучими морозами. Пальцы ног покалывали в ботинках. У дома под балконом мы нашли голубя с отмороженными лапами. Мама завернула его в какую-то тряпицу, и мы отнесли его домой. Голубь сначала не поверил в нашу доброту, но потом отъелся, лапы его зажили, только иногда он косился рыхим глазом на папу, когда папа упрекал маму:

— Тащишь всякую заразу в дом. У птиц и кошек на морде паразиты.

Я рассматривала голубя, паразитов на нем не было видно, а Любка сидела рядом, уплетая пирог.

Наступила весна, голубь улетел. И нас с Любкой разлучили. Меня на три года увезли в Монголию. А когда я вернулась, Любку тоже увезли в специальную школу для глухонемых детей в Ленинграде. Мы встретились снова, когда нам было одиннадцать. Мы рассматривали друг друга, было очень неловко. Потом обнялись, но без прежней страсти. Когда с мальчишками мы играли в войнушку, а оружием были палки, Любка приняла игру за чистую монету и избила одного подростка до слез. Была она резко, больно и жестоко.

— Уберите вашу ненормальную! — протестовали мальчишки.

Игру мы прекратили.

— У тебя есть конфеты? — написала Любка в блокноте, который всегда носила с собой.

— Есть, — написала я в ответ, и мы пошли ко мне есть конфеты.

Этот маленький белый блокнотик, который она вытащила из кармана, убил всю романтику недосказанности. Писала Любка с ошибками. В придачу корыстно хотела конфет. И все. Никаих «А помнишь?» А может, истинные чувства непереводимы на язык слов? Я взглядалась в синеву прекрасных глаз Любки, пожирающей шоколадные конфеты и запивающей конфеты компотом, и мне было скучно.

Потом она вновь уехала. И увиделись мы уже в семнадцать лет. Я поступала в университет. Любка выходила замуж. Помню украшенные разноцветными лентами машины у подъезда. Белоснежная юная невеста с цветами в иссиня черных косах, тонкая и прекрасная, вдруг задирает голову и машет рукой мне, прилипшей к окошку на четвертом этаже. И синими искрами вокруг сверкает счастье. В этот день она с чувством обнимала мою маму, улыбаясь и не говоря ни слова. Говорили лишь синие глаза, и мама отвечала:

— Да, Любушка, да, моя хорошая, я так за тебя рада! Будь счастлива!

Машины еще сигналили, толпа еще глазела на свадьбу, а моя Любовь одной рукой собирала прозрачную пену свадебного подола, садясь в машину, и другой рукой махала мне на прощанье.

У нее родился ребенок. Она вышла замуж за глухонемого мальчика, и у них родился ребенок, самый обычный, нормальный ребенок, который мог слышать и говорить. Дитя Любви.

Моя дорогая подруга, чья любовь заговорила тоненьким детским голосом, — о изумленная синева лучших глаз! Любовь пронизала тебя насквозь, любовь стала твоим ребенком и растет день ото дня. Есть в этом светлая печаль и отрада, и больше нет немоты, нет раздирающего душу чувства. Чуткая мать учится прислушиваться к каждому движению своего дитя, угадывать его еще не высказанные желания по губам. И сердце ее слышит и говорит. Любовь излечивает нелюбовь. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит...

И бесконечна дорога, где глухонемые мы лежали вместе, держась за руки. В детстве дорога казалась пустынной, а сейчас там всегда пробка. Иномарки стоят. И ругаются матом водители.

Любовь никогда не перестает.

Владимир Лидский

Золотая рыба

Рассказ

...но в гробу я его не видел, отчего степень моей скорби нельзя измерить, да и было б что мерить! вообще скорби не испытал я, узнав о кончине отчима, отошедшего в мир иной в полном и безоговорочном одиночестве, — и кто хоронил его — не знаю, ибо мне было фиолетово все, связанное с человеком, прошедшим по моей жизни равнодушно и грубо, и когда мать сказала: *он умер*, я сразу понял, о ком речь, угрюмо ответив: все там будем... и вот он ушел, оставил по себе недобрую память, тревожащую теперь все чаще, поскольку я сам все ближе к черте, за которой *ничто*, — кроме встречи, разумеется, с ним, — я встречу его, без сомнений... увижу, но сделаю вид, будто мы не знаем друг друга, — что, впрочем, будет легко: я изменился за годы, и уж ничего во мне от подростка; Боженка сдал меня миру, наделив тонкой кожей, наивным взглядом и незрелым умом, но я спорил с Ним, закалая шкуру в суровых ветрах, и теперь меня трудно узнать: циник и пофигист, я принимаю черновики Бога, не критикуя, не возмущаясь, но и не отчаяваясь; отчим был человек прямой и прямолинейный, суровый, бескомпромиссный, любить его было трудно, а может, вообще нельзя, — я и не любил, я терпел; у него была страсть к подначкам, которые я stoически сносил, потому что парировать не мог, а он, пользуясь моей подростковой робостью, не стеснялся в средствах, и это было, разумеется, психологической пыткой; сейчас-то меня, понятно, таким червем не возьмешь, а тогда... он носил червей моей золотой рыбке Глаше, прекрасной вуалехвостой рыбке, полностью разделявшей мои представления о мире, — я ее любил, а отчима, кормившего ее и меня, — не любил, и отчим, Радий Викторович, спинным мозгом чуял это, поглядывая иной раз на меня с неопределенной настороженностью, тревогой, опаской; я знал ему цену и хорошо чувствовал его гнильцу, которую можно было списать на душевную болезнь, а кто ж знал, что у него болезнь! я думал: плохой человек, опасный человек — мучает маму, меня, Глашу, не давая ей червей, а Глаша любила червей — мелких, тонких — и гонялась за ними, ежели они случались в аквариуме по воле всемогущего отчима... для меня Глаша была золотая рыбка, для него — рыба, и он это вскоре доказал, но месяц шел за месяцем, и до трагедии было время, которое он использовал для новых пыток:

Владимир Лидский (*Михайлов Владимир Леонидович*) родился в 1957 году в Москве. Окончил ВГИК, сценарно-киноведческий факультет. Поэт, прозаик, драматург, историк кино. Автор романов «Русский садизм», «Избиение младенцев», сборников стихов «Семицветье» и «По ту сторону зеркала», нескольких киноведческих книг. Публиковался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Новый журнал» и др. Член Союза кинематографистов Кыргызской Республики. Живет в Бишкеке. Предыдущая публикация в «ДН» — повесть «Герновник» (2019, № 4).

устраивая по ночам скандалы, он, как вампир, пил кровь из мамы, — я спал на кухоньке и через тонкую стену вынужден был слушать счастливые откровения: пора разводиться, — говорила мама; слава богу, у нас нет детей, — говорил отчим; а я рада была бы от тебя родить, — говорила мама; еще чего, ублюдков рожать! — говорил отчим; это от меня-то ублюдков? — говорила мама; от кого же еще? — говорил отчим... и так далее, — а я слушал, что называется, воленс-неволенс, и, зарывшись в подушку, тихо плакал и засыпал в конце концов в мокрой подушке... кого рожать? — думал я, — кого рожать, кого рожать? ублюдков рожать! и самое слово это, грубое, дерзкое, оскорбительное повергало меня в отчаяние, ведь это я, стало быть, рожденный мамой, был недочеловек, выродок, тумак, и вот почему казался я отчиму пустым местом, а он, как и природный радий, был чрезвычайно редким и столь же токсичным, более того: про его смерть узнал я, что он бессмертен, ибо опасный радий имеет, оказывается, атомное число восемьдесят восемь... две восьмерки, две бесконечности! нет спасения от него, даже в космосе станет он тянуться ко мне! что, что он сделал вообще и как повлиял на мир? готовил кроликов для жития на Марсе, играл в шашки, всякий раз злорадным ехидством сопровождая мой очевидный проигрыш в то время, как я терялся, не в силах понять бессмысленность подобного унижения... что еще? а! ездили за грибами, было дело: он сыскал пять-шесть грибков, а я — целую корзину, — так надо же присвоить плоды чужих трудов, — он просто свалил в общую кучу грибы и предъявил их потом маме как совместное *итого...* сказки читать запрещал... что может быть полезного в этих сказках! потому и Глаша носила у нас гордое звание прозаической *рыбы* — не сказка, не красота, не волшебный промельк перламутровых плавников, не рубины смышеных глаз, а кусок мяса с костями! он легко доказал свою правоту, когда я вступился за маму в миг обострения его *шизы*: он поднял руку, может быть, и не собираясь бить, но жест был красноречив, — он поднял руку и сделал замах, он поднял руку, оскалившись, и в глазах его мелькнула первобытная, какая-то обезьянья злоба, он поднял руку и... я шагнул... левая рука его тоже двинулась и стала на уровень моего лица... я шагнул и... укусил его, попав в запястье! он взывал и, схватив меня за рубашку, повлек на кухню, где, грохоча, извлек из духовки сковороду и водрузил ее на плиту... сковородка уже чадила, когда он, выйдя из кухни, вернулся в комнату и сунул укушенную ручищу в аквариум, я думал — утишить боль, но он, сделав несколько судорожных движений и расплескав воду, схватил Глашу, зажал ее в кулаке и понес на кухню... капли сопровождали его шаги... я в ужасе наблюдал: подойдя к плите, он швырнул Глашу в адское пекло сковороды! я завопил! моя рыбка, мое сокровище, мой драгоценный слиток! она прыгала в раскаленном масле, а я ничего не мог сделать; Глаша осунулась, покернела и умерла; Радий Викторович торжественно взял ее за обугленный хвост, поднял и положил в рот... по смерть буду помнить чудовищный хруст ее нежных костей, сгоревших плавников и — запачканные губы отчима... он меня не узнает, ежели мы свидимся с ним в преддверии ада, — я уже прозреваю встречу: он сидит возле лохани с рыбой и, давясь, жрет ее, а мелкие бесы подносят и подносят новую рыбу — все время бытия станет он поедать рыбу, до скончанья веков, до гибели Вселенной, до полной и безоговорочной тьмы, до окончательной, не подлежащей искоренению пустоты — людей не будет, мира не будет, цивилизации канут, а он — останется! среди пустоты и во тьме будет жрать чертову рыбу ежедневно, ежечасно, ежеминутно, бессрочно, а я... мне остается только злорадствовать, да, — злорадствовать, и этого я боюсь в себе более всего...

СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ: ПОДСЛУШАННЫЕ МЫСЛИ

Несколько лет назад в календаре зоопарка папа увидел фотографии, которые его просто потрясли. Это фотографии мам-животных со своими детьми. Выразительность и трогательность максимальные.

Папа никогда сентиментальным не был, но здесь что-то задело...

И вот, за пару месяцев до своего ухода он написал рассказики-сценки — подписи к этим портретам. И хотел, чтобы мы с Алёшой, моим младшим сыном, где-то это почитали как актёрский номер.

И я сказала, что сделаю. И сделала. И мы имели с этим большой успех, много реакций, папа был бы доволен. Но мы не успели, это было уже после его смерти. В его память. Пусть и эта публикация будет в память. Я знаю, он видит и поймёт.

Дарья Юрская



СУРКИ

Природный оркестр Второй половины дня Второй половины августа. Птицы уже угомонились, занимаются своими домашними делами. Трава слегка шуршит, клоняясь под ветерком. Хор комаров ещё не вступил всерьёз, только разминается. Лягушачьи ансамбли —

это в прошлом! Сейчас только редкие одиночные вскакивания. Листья на деревьях аккомпанируют дрожанием и лёгким шуршанием друг о друга. Равномерное движение сотен (тысяч?!) Муравьёв, тяжёлая поступь с остановками и оглядкой больших жуков участвуют в общем звучании тишины. Солирует опаздывающая в улей и, видимо, слегка заблудившаяся пчела.

— Тишина. А, Мама?! Тишина!

— Угу... Тебе пора ужинать. Потом посвистим немного... и спать... спа-а-ат...

— Не хочу есть, я сыт. Мама, как это — всё такое огромное и такая тишина?

— Сурик, ты умница. Ты моя гордость, Сурик! Это — ТВОРЕНИЕ! Это — ВСЁ: солнце, трава, земля, корни, ягоды, зёрна, жуки, ветер, вода, провода, кусты... существа... Кого видно, кого не видно, но все тут... Это ТВОРЕНИЕ.

— Мама, а кто мы?

— Мы, мой маленький, вершина ТВОРЕНИЯ. Все ведь разные — одни большие, другие быстрые, ещё другие сильные, ещё другие красивые, ещё другие невидимые... У одних глаза лучше всех, у других уши, ещё у других нюх. А у кого всего понемножку, у тех ум. Это ЛЮДИ, они стоят над всеми. А над самими людьми они поставили только нас, Сурков.

— У нас ум ещё больше?
— Нет, ум у людей больше, они хитрее.
— А у нас что, Мама?
— У нас самая большая интуиция.
— Что это?? Мама???

— Мы знаем, что будет завтра. Мы знаем то, чего никто не знает, — Судьбу!

— Как это, как это, Мама? Ну как это?
— Есть очень большая и очень далёкая страна. Там живёт самый знаменитый Сурок. Когда мы все спим, и он спит тоже. И весь мир ждёт: когда он проснётся. И когда он просыпается, все кричат друг другу: «Сурок проснулся!» И тогда начинается весна.

— Ма-ама! А он-то откуда знает?
— Это и есть интуиция. А ещё люди пишут на отдельных бумажках ВСЁ, что может случиться с человеком, кладут бумажки в коробку, и специальный человек, у которого есть Сурок, ходит с ним по миру, играет специальную музыку, и Сурок вытаскивает из коробки Судьбу каждого человека.

— Ма-ама! Кто же это всё придумал?
— Бетховен.
— Что Это?
— Он на двух ногах, как человек, но голова у него, как у льва, но он не лев, а композитор. Он написал Великую «Песню Мира»: «И мой Сурок со Мною». И это наш гимн.

— Мама, а почему мой друг Люсик из большой норы за вторым деревом сказал, что я жирный хомяк?
— Твой Люсик ещё маленький, но он уже большой дурак. Скажи ему это. Мы, Сурки, должны набирать запас тела, чтобы спокойно спать целую зиму. Всё, довольно болтать! Немедленно ужинать, и чтоб всё до крошки съел!

— Мама, а Люсик...
— Ужинать, я сказала! И спать! Весной поговорим.



ТИБЕТСКИЕ БЫКИ

(Жуют.)

— Мама, правда — мы счастливые?!
— Да, мой маленький, мы счастливые.
— А почему мы такие счастливые?
— Здесь, в Тибете, самые главные Буддисты, они нас считают священными, а мы их считаем священными. Они нас уважают, а мы

их уважаем. У них есть дороги, деревьев на дороге нет, даже травы нет, но по дорогам можно дойти до травы и там обедать. По дорогам разрешается ходить только нам и машинам. Если мы встречаемся с машинами, то машины должны нас обходить, а мы идём своей дорогой.

- А машины — кто?
- Это разговор для взрослых. Вырастешь — узнаешь.
- А Буддисты кто?
- У них только две ноги, но всё рано они очень хорошие. У них, как у нас, бывают дети. Тоже хорошие.
- А у машин?
- А у машин дети непослушные, они ходят где попало, в том числе и по дорогам. Называются велосипеды и мотороллеры. Вот с ними будь осторожен.

(Жюют.)

— Мама, а ты была маленькой?

— Была.

— А я буду большим?

— Обязательно! Потому что Буддисты нас не едят.

— Как это? Как это?? Как это???

— Тебе может быть это и не надо знать, но там, внизу, в долине нас едят, как мы едим траву... Что такое? Перестань плакать!

— Мне страшно... Как это: «нас едят»?

— Там вместо Буддистов живут Люди. Они наших родственников держат за загородками, ждут, когда у тех родятся дети, а потом их едят. Не надо плакать, мой маленький, дай я тебе слизи слёзки.

— Рассказывай дальше... Хм, хм... хм...

— Не сегодня, родной, достаточно... Ляг, поспи... закрой глазки... Спи, мой маленький. Это всё там, в долине, а мы живём здесь, на горе, мы тибетцы... Засыпай, засыпай...

— Мама, я тебя очень люблю... Можно, я тебя поцелую?

— Засыпай, засыпай... Забудь всё, что я тебе говорила... Баю-бай...



ТИГРЫ

— Мама, не рычи так, я боюсь!
— Брррррогги, никогда не смей
бояться! Никого! И ни-ког-да!!!
Ты тигр! Помни это каждую минуту!
Я тебя родила в неволе — этого
никто не мог, но я тебя родила в
неволе, ты единственный! Помни это
каждую минуту твоей жизни! Тебе

нельзя спрятаться, на тебя каждую минуту смотрят, это судьба, но ты ТИГР!!!
Ничего не бойся! Ты смелее всех, ты умнее всех, ты красивее всех! PPPPP!
Ты меня слышишь?

— Ну, слышу, Мама. Я слышу, не рычи!

— Ладно, дай поцелую. Когда я работала в цирке, Ирина Александровна меня... больше всех опасалась. Всегда глазом косила, когда спиной ко мне стояла и кланялась — публике.

— Кто это — Ирина Александровна?

— Дрессировщица. Она знала, что я лучше всех стойку на задних держу и что у меня прыжок самый высокий. И она понимала, что если дело дойдёт до хлыста, я ведь и брандспойта не испугаюсь, да и её не пошажжу! Я не Роджер, мне на тумбе не усидеть!!!

— Кто это — Роджер?

— Твой отец... Я не смирилась, хоть она меня и сдала в зоопарк.

— Мама, а здесь хорошо... Вот, нам горку построили... И бассейн...

И еду носят...

— Эх, ты... Горе ты моё... «Еду носят...» Ты никогда воли не видел!!!!!!!

(Нервно ходит по клетке.) Еду ДОБЫВАТЬ надо! Мы тигры!

— Мама, можно я пойду побегаю?

— Побегай. Побегай... по кругу... попугай... голубей... Когда я работала в цирке, я музыку очень любила... всегда марш играли на наш выход... и громче всех была труба... (*Сынок бежит по кругу.*) Она меня боялась, Ирина Александровна... потому и сдала в зоопарк...

— (Издалека) Мама, смотри, как я прыгаю!

— Молодец! (Закрывает глаза, очень тихо рычит.) Прыгай, прыгай!..

(Громко) Стоять на задних учись, как я показывала! Слышишь?!

(Сынок пробует встать на задние лапы, но у него пока не очень получается.)

— МОЛОДЕЦ!!! Ты талантливый!!

(Сынок прыгает и крутится на месте.)

— Беги, беги... по кругу... быстрее!!! Прыгай! Молодец!

(Сынок бежит по кругу.)

— (Тихо рычит и бормочет.) Ты воли не видел... Я добьюсь, тебя взмут в цирк... будешь Артистом... (Громко) Бrrрroggi! Беги ко мне, я тебя поцелую.



СЛОНЫ

(Идут всем стадом.)

— Элик, не води хоботом по песку! Болеть будет. Ты слышишь, что я говорю? Надо слушаться, ты уже не маленький.

— Нет, я маленький.

= Не хнычь! Иди ровно. Смотри,

как Папа ровно идёт, как все ровно идут!

— Я устал, и у меня спина чешется.

— Это от пыли... и от насекомых... Давай я подую, они все улетят, и не будет чесаться.

— А они потом обратно прилетят!
— Что за капризы?!. Болит что-нибудь?
— Не болит, чешется.

(Мама дует, некоторое время всё стадо идёт молча.)

— Элик, ты какой-то кислый! Чем ты расстроен?
— Обезьяна дразнится!
— Что-о? Что значит — «дразнится»?
— Обзываются! Кричит: «Уродина, нос до земли»!

(Некоторое время идут молча.)

— А ты её не слушай. (Идут.) Она сама уродина, не поймёшь, где руки, где ноги! (Ещё идут.) Уж чья бы корова мычала ! Надо же! Нахалка какая — детей обижать! Мозгов совсем нету!

(Идут молча.)

— Я устал.
— Потерпи, скоро придём. Сейчас ЭТОТ лес кончится, потом будет ТОТ лес, а за ним река. Мы с Папой тебя выкупаем, обольём, как из шланга... Ты же любишь, чтобы, как из шланга?! И спина чесаться не будет.
— (Маленький бурчит.) ТОТ лес, ТОТ лес, там и сидит обезьяна, опять обзывааться будет...

ПАПА: А вот я сейчас скажу нашим, и мы по дороге повалим целиком ТОТ лес, вырвем все деревья к чёртовой матери, вытопчем всё, пусть обезьяны убираются отсюда, куда хотят... хамьё!

(Тяжёлое молчание, идут.)

МАМА: Не ругайся, Фани, здесь ребёнок! Как это — «всё вытопчем»?! Ну и будет — как пустыня. А кушать что будем?

(Некоторое время идут.)

ПАПА: А ведь ты права, Лони, обедать где будем?! Какая же ты удивительно умная! Надо всегда помнить, что мы САМЫЕ большие! Что нам обращать внимание на всякую мелочь?! Будь то хоть насекомые... ИЛИ... хоть обезьяна!!!

(Все слоны задирают хоботы и громко трубят смехом. Элик тоненько трубит вместе со взрослыми. Слоны идут. ТОТ лес уже рядом. Обезьяны поспешно влезают на самые верхушки деревьев.)



ЗЕМЛЕРОЙКИ

Их четыре — Фью, Ань, Сии и Нгаа.

(Сперва молчание, потом редкие прерывистые звуки.)

— Ну, где же мама?.. Где же?..
Как же быть?

— Ноги замёрзли... Уже день... Уже давно день...

— Где же мама?..

— Хочешь есть?..

— Я не умею... Меня мама кормила... Пить хочу... Но я не умею...

Мама поила.

— Она улетела...

— Как же быть?..

— Ноги замёрзли...

— Её убили... Не вернётся...

— ...Красиво летала...

— Я пробовала летать... Упала... Совсем не получается...

— Не вернётся???

— Неееееееет... Не вернётся... Если убили...

— Ноги замёрзли...

— Как же быть?..

— Жалко, что воздух нельзя пить... Пить хочу... А он не пьётся...

— Я теперь весь замёрз... Сперва только ноги... А теперь весь...

— Мама была тёплая...

— Мама всё знала...

— Мама всё умела...

— Красивая...

— Как же быть?..

— Давайте греться друг об друга...

— Ага... ага... ещё теснее...

.....
— Вот такая коротенькая жизнь????.....

Двойной портрет

Станислав Бельский

Из цикла «Синематограф»

Трижды снег

нужен прибавочный звук
полый и влажный
звуки ударов о снег
в конкурсе не участвуют

вопреки уверениям младенцев
спасает излишняя сложность

попытайся рассеять природу:
для оптики — тёплая дева
с кровеносной синицей войны

отсутствие малейшей из величин:
робкая похоть?
снег заметённый снегом
единственное развлеченье — призрачный отъезд

а теперь займёмся двоеточиями
как будто другие дела
заброшены
и
продолжим читать бесконечную книгу
пока жизнь
не совпадёт с текстом
и так прострижёт вертикальную выигу
что не останется сомнений
в опечатках на обратной стороне

самое время наушничать
христа ради
когда снег падает торцом

Бельский Станислав Алексеевич — поэт, переводчик. Родился в 1976 году в Днепропетровске. Окончил механико-математический факультет Днепропетровского университета им. Олеся Гончара. Работает программистом. Автор восьми сборников стихов, в том числе — «И другие приключения» (Днепр, 2018), «Музей имён» (Днепр, 2019), и книг переводов стихов Остапа Сливинского и Василя Махно.

Живет в городе Днепр. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

* * *

нет ойкумены есть лишь
плохое поведение:
история снега
история льда
и набитого деньгами учебника

один-один: счёт для нищих
но и ничья не засчитана
без стремительных лестниц
трилистников
и надземных переходов

лысины червовых валетов
океанское дно материализма
жалъ что не слева а справа
абордажные крючья
значит было в них что-то
готовое распуститься?

чернила меняются
жалко хичкока
с его цветными лекалами

* * *

казённое утро
как дважды два
зацепленное за струнку
почты
и некогда в этом городе
выдумывать татуировки
заказывать польские браслеты
/а вкусны ли они
пряники и не скучны ли
девушки?/
хорош ли утренний секс? а главное
чтение по буквам: приторное
с пришёптыванием согласных

* * *

Посвящается Лене Левской

два смерча
ходят в саду ремизова
один послужен и весел
как зеленоглазая девушка
другой бородат и вульгарен
словно киевский архитектор

осень и осень в сумме
дают шотландскую юбку;
визирь Канцелярий живёт по соседству
и не различает погоду —
лишь робкие следы пароходов
на молочном прибрежье

* * *

с мёртвым двоеточием
не поспоришь —
так же и с мёртвой любовью
и с осязанием
склеенным
из бутылочных осколков

гекзаметр —
молодильное яблочко
внутри треснувшего света
секс? будто подсоленная мелодия
пересекается с холмистым свистом

Галина Крук

Тот непонятный блеск в глазах

С украинского. Перевод Станислава Бельского

МАМА

кто-то стоит между тобой и смертью, но кто знает,
на сколько её ещё хватит — сердце

оказываешься во времени и пространстве, где так важно
чтобы кто-нибудь за тебя молился

хотя бы в мыслях, хотя бы своими словами,
не складывая молитvenno руки

отрывая хвостики у клубники, только что с грядки,
вспоминая, как ругала тебя, мальчишку,
за то, что топтался по ягодам и не давал им созреть

Крук Галина Григорьевна — поэт, литературовед, переводчик. Родилась в 1974 году во Львове. Окончила Львовский национальный университет им. Ивана Франко. Кандидат филологических наук, преподаватель ЛНУ. Автор пяти книг стихов, среди них «Сосуществование» (Львов, 2013), «Доросла» (Львов, 2017). Стихи переведены на английский, немецкий, русский, польский и др. языки. Живет во Львове. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

шепчет: смерть, он ещё не созрел,
он щёл такой зелёный,
у него ничего ещё не было в жизни
слаще этой нехитрой немытой клубники

просит: не клади его, Боже, с краю,
не посыпай его градом, Боже,

сын, я даже не знаю, как выглядит этот град,
я даже не могу этой войны представить!

* * *

делаю из муhi слона
вожу его за собой повсюду
серого большого громоздкого
показываю его всем, извиняюсь:
— не такой уж он и большой
не бойтесь, он не укусит,
не с кем было его оставить дома,
это мой, я сама его сделала.

делаю из муhi слона,
хотя могла бы, наверно, освоить другие формы —
приятней и компактней,
за которые не нужно было бы извиняться,
но что тут ещё сделаешь?!

можно было бы, конечно, не из муhi,
а из какого-то материала поблагородней —
слон заслуживает большего,
ни один слон априори не видит себя в муhi —

какая муха тебя укусила? — спрашиваешь, —
зачем тебе всё это непонятное творчество?

— не знаю, — говорю, —
не могу отказать себе и слону
в возможности быть

блеск

где я была все эти ночи и дни, все эти годы,
в которые не могу себя вспомнить — какой я была?
где я была, взвихрённая, кем-нибудь растанцованный,
головой на чём-то плече, беспричинной радостью,
колотьём в боку, волосинкой на языке?
узнала бы меня эта смешная девчонка
с тяжеленным портфелем, с кучей формул в голове
и влажным блеском в глазах,

пробегая мимо меня — сорокалетней с хвостиком —
под руку с мальчишкой (замечаешь тот самый блеск?),
но даже если бы я встретила её, даже если бы она узнала,
что я сказала бы ей?
— знаешь, малая, формулы не пригодились. совсем.
мир тронулся в другую сторону.
форма будущего времени от слова «портфель» —
остеохондроз. познакомься, это твой сын...
я шучу, беги себе дальше, малая!
я не знаю тебя, как и ты не знаешь меня.
разве тебя не учили,
что нельзя говорить с незнакомыми, а?..
на самом деле никто никого не знает,
никто никому не следствие и не причина.
не могу ничего вспомнить из тех дней — меня там ещё и не было.
только блеск, только тот непонятный блеск в глазах,
только он помнит всё.

Александр Эбаноидзе

След жизни

Собрание житейского антиквариата

Сорок второй год принес с собой беду: мы получили похоронку. Отец погиб в трагическом керченском десанте, в конце декабря. Наша беда затронула всю родню, всколыхнула все фамильное древо. Пожилая бездетная чета выразила готовность усыновить одного из осиротевших мальчиков, присовокупив, что предпочла бы младшего. Я не помню их имен, но до сих пор помню свое детское негодование, оно все еще слабо искрится во мне.

Но что мое негодование в сравнении с маминым! Представляю, как досталось бездетной чете! Думаю, перепало и тетушке, склонявшейся к обсуждению предложения (скорее всего, это была старшая — рассудительная тетя Маргарита). Бедняжки не знали, как опасно вторгаться в наш бедный, тесный уют. Охваченная гневом, мама шуганула наивных доброхотов и порывисто обняла нас: «Никому не отдам моих мальчиков, моих сыночков! Никому!»

Она и впрямь противилась, как могла, но обстоятельства оказались сильней: не прошло и года, как ей пришлось отвезти меня в деревню на попечение золовки и свекрови, моих тетушек и бабушки.

Так я снова оказался в доме на горе, но на этот раз не розовым несмышленым младенцем, а впечатлительным мальчиком четырех лет.

С грустью и радостью пытаюсь воскресить тот мир, в котором прошли два военных года — 1943 и 1944-й.

Двор

Обширный двор был обнесен частоколом. Рельеф и растительность, изменчивые в пределах двора, делили его на четыре части. За домом на заднем дворе толпились с десяток дубов. Теснота помешала им раскинуться вширь, и они ушли ввысь: статные

Эбаноидзе Александр Луарсабович — прозаик, переводчик. Родился в 1939 году в Тбилиси. Окончил Литературный институт им. А.М.Горького. Автор восьми книг прозы и публицистики. Роман «Два месяца в деревне, или Брак по-имеретински» (1974) переведен на 15 языков, инсценирован и экранизирован у нас в стране и за рубежом. Перевод романа Отара Чиладзе «Годори» (2004) удостоен премии Российского Книжного Союза.

С 1995 по 2017 гг. возглавлял журнал «Дружба народов». Награжден Орденом Чести (Грузия). Живет в Москве.

Фрагменты из книги. Начало публикации: «Дом на горе» («ДН», 2016, № 8).

великаны со стволами в полтора обхвата. Три из них встали над Нижним виноградником, остальные разбрелись по двору и поднялись на пригорок, подступавший к дому. Со стороны оврага к нашим дубам подбирался низкорослый, беспородный лесок — корявые недоросли буков, грабов, берез, терновника, перевитые ежевикой, деревозой и можжевельником. Лесок был настолько непролазен, что даже козы не забредали в него. Летом от него жарко пахло сухменем, лесной ягодой и земляникой.

Неподалеку от дома, под дубами притулился кукурузный амбар, безоконный домишко на высоких сваях, обхваченных колкими венчиками, не только украшающими сказочное сооружение, но и оборонояющими его содержимое от белок, куниц и хорьков.

С дубами на пригорке соседствовала акациевая роща — больше полусотни деревьев, и все на подбор: стройненькие, изящные, с густой кроной и нежной листвой. Детскому воображению дубняк за домом представлялся бравой дружиной, а акациевая роща — нежным девичьим хороводом.

Двор перед домом был светлей и просторней заднего. Деревьев там росло меньше, и почти все фруктовые. По одну сторону двора от калитки к дому выстроились в ряд четыре высоких черешни, по соседству с ними набирался сил молодой бесплодный орех-холостяк.

По другую сторону зеленели две лужайки. Ближняя к дому была засеяна ухоженным рейгасом, обсажена ирисами и украшена тремя нежными сливами, средняя из которых сочилась прозрачной золотистой смолой.

На дальней лужайке в конце двора некошеная трава зеленела темней и гуще, в ней заплетались ноги, и не больно было падать. Посередь густотравья стояло единственное дерево — большая шелковица с симметрично раздвоенным стволом; когда облетали листья, шелковица превращалась в латинскую литеру V, римский знак победы.

А между лужайками, под столетней липой? стоял круглый цементный стол с тремя скамейками, любимое место семьи и гостей. И не диво: красавица-липа овеяла его медовыми запахами, осеняла пчелиным гудом и осыпала высохшим цветом, штопором слетающим с душистой кроны.

Запомнились еще два дерева перед домом, они не отличались ни красотой, ни плодовитостью, но чем-то трогали сердце и будили воображение.

В нескольких шагах от приступки, ведущей на веранду, доживала свой век старая акация. Огру比亚шая, кряжистая, в морщинах и наростах, она представлялась прабабкой тех, что красовались на пригорке. А над двором, на краю пригорка, одиноко торчал дуб. Высоченный, как и покинутые им собратья за домом, но с посеченными ветвями и поредевшей макушкой, он казался невезучим изгоем. Я с недоумением и сочувствием посматривал на него: что оторвало его от родной ватаги и вытолкнуло вперед?

Таков был наш двор в ту пору, когда мама, удрученная вдовыми заботами, привезла меня в деревню.

Сегодня из всех деревьев нашего двора жива только липа. Время не нанесло ее красоте никакого ущерба; напротив, ствол сделался стройней и выше, а крона соразмерно раскинулась вширь.

Дом

Дом представлял собой традиционную имеретинскую оду, разве что просторней обычной.

Главное достоинство оды — открытая веранда, професионал назвал бы ее архитектурной доминантой.

Наша веранда была особенно хороша. Открытую во всю ширь фасада, ее со знанием дела декорировали местные умельцы: резные навершия деревянных колонн и ажурные балюсины под перилами придавали ей воздушную легкость.

Насколько легкой и воздушной смотрелась веранда, настолько строгой и сумрачной выглядела зала, обстроенная по периметру анфиладой комнаток. Одна из них, та, что побольше, с камином, в оны годы служила гостиной, остальные были спаленками с продавленными кроватями и громоздкими комодами, на которых тускло поблескивали подслеповатые зеркала, а на выдвижных ящиках болтались беззвучные колокольцы.

Посреди залы с потолка свисала пузатая лампа в разрисованной чаше; из стены против двери выступала тучная спина голландской печки, а в углу, на резном ломберном столике, поблескивала музыкальная шкатулка венского происхождения. Сам ломберный столик раскрывался как книга, обнаруживая столешницу, обтянутую зеленым сукном; присмотревшись, на сукне можно было разглядеть меловые следы карточных игр.

Но не заморские изделия, редкие в наших горах, придавали зале мрачноватую торжественность. Ее выделяли статус и чин. Зала открывалась только по особым поводам. Заходить туда не запрещалось, но не тянуло. В полумраке на стенах поверх ковров висели три больших фотопортрета в черных рамках: немолодая женщина в национальном головном уборе и молодые мужчины с непокрытыми головами. Со временем я узнал, что это мои предки: дед, его сестра и брат, но сходство увидел с первого взгляда.

Женщина по имени Минадора умерла в тридцатых годах, и мне не трудно было представить ее наследницей одной из спаленок, скорее всего, той, где у окна стояла зингеровская машинка с ножным приводом.

Гораздо раньше Минадоры нелепо погиб их младший брат Леонтий: уклоняясь от призыва на Первую мировую, он доверился местному лекарю, пообещавшему вызвать временное недомогание. Недомогание лекарь вызвал, а вылечить от него не смог. На фотографии Леонтий в мягкой косоворотке, открывающей стройную шею. Молодой красавец, баловень семьи, смотрит с укором, смягчающим присущее ему легкомыслие.

Еще в 1910-м эпидемия тифа унесла моего деда Александра. С его фото смотрит в упор смелый вспыльчивый мужчина: выражение лица сочетает ожидание неприятностей и готовность их преодоления. На нем тесный сюртук, крахмальная манишка, галстук-бабочка. Он не похож на деревенского жителя. В нем можно предположить энергичного инженера, требовательного чиновника, строгого учителя, да хоть министра маленькой колониальной страны, борющейся за независимость. Министром он не был, это точно; мельком слышал, что служил на железной дороге: кем? где? Не удосужился уточнить.

Что еще можно разглядеть в доме через семьдесят пять лет?

В столовой над продавленным диванчиком висит апликация, обрамленная ажурной мережкой: между камышей и лилий, поджав ногу, понуро стоит цапля с бархатно-черным хохолком и морковного цвета клювом.

А в комнатке дяди Габриэла со стены скалится лев такой достоверной выразительности, что при взгляде на него каждый раз обмирало сердце. Ковер попал к нам в начале двадцатых, при меньшевиках, когда ненадолго возродились отношения с Персией; верно, оттого так доподлинно в нем все — от папоротника и сухостоя под лапой льва до клыкастого оскала и великолепной гривы.

Дом был тогда еще не старый. Со временем к нему, нарушив план *оды*, приросли две кирпичные пристройки: одна сделалась кухней-столовой с крестьянским камином, в котором висел на цепи закопченный чугунок, и сливом воды в цементном полу; другая так и не нашла себе назначения и превратилась в чулан.

Еще позже, в новые времена, пространство под домом переоборудовали в просторную комнату и санузел. А в пору, которую я пытаюсь воссоздать, подвал представлял собой обширный погреб, заставленный бутылями, штофами, бочонками, с туго свернутыми бурдюками и скрученными шлангами; они были распиханы по

неглубоким нишам, как и набор слесарных инструментов и гвоздей всех размеров: от сапожных, для дамских туфелек, до пыточных, способных выдержать говяжью тушу. В погребе царил холодок, шибающий смачной маринадной смесью, особенно резкой летом, в июльской пекле: стоило приоткрыть створку рассохшейся двери, как сводило ноздри и озnob пробирал до косточек.

В этом доме прошли два года раннего детства, на ту пору третью моей жизни.

Домочадцы

Рядом были тетушка Елена с бабушкой, на чье попечение сдала меня мама, и дядя Габриэл с тетей Мариам. Но им хватало своих хлопот: тетушка с утра шла в школу, за четыре километра, и возвращалась под вечер; дядя Габриэл обижаживал свои виноградники, подступающие к дому и требующие заботы — подрезки, подвязки, прореживания, окучивания, опрыскивания, двух рук не хватало на три виноградника, и тетушка Мариам спешила на помощь, всегда на подхвате: драла лыко, размачивала в воде, разбирала на волокна и, набив карман фартука, шла в междурядья к мужу; между делом она доила корову, заквашивала сыр, кормила поросят и кур, стряпала на скорую руку, не забывая походя одарить меня из своего бездонного кармана фундуком, изюмом или моим любимым сущеным инжиром.

Бабушка, немногословно-строгая, словно окаменевшая в горе, в черном платке и черном сатиновом платье до пят, тоже наведывалась в виноградник с садовыми ножницами и умело, со знанием дела, осматривала лозы. Но больше ее заботил маленький, тщательно выгороженный огородец с игрушечными грядками, которые она окапывала детской мотыжкой, сидя на трехногом табурете, после чего шла в дом и без сил ложилась на тахту, уставясь в потолок страдающим укоризненным взглядом...

Словом, все были при деле, однако я не чувствовал ни скуки, ни одиночества. Мои дни тоже были наполнены. Этим я обязан двум товарищам по играм — Рексу и Нани.

Рекс

Рекса привез в деревню отец, привез незадолго до моего рождения в коробке из-под обуви. Обе эти подробности ужасно нравились мне, особенно коробка из-под обуви. Да и то, что мы ровесники, тоже.

Но человеческое дитя растет медленно. Мой же ровесник к четырем годам вырос в сильного стремительного пса с умной физиономией, зубастой пастью и внимательными карими глазами. Рекс мог в две минуты оббежать весь наш двор с дубняком и рошицей, заглянуть в Нижний виноградник, обследовать Верхний, наведаться в заброшенный сад и, не запыхавшись, предстать перед хозяином. Ко мне он относился со снисходительной заботливостью старшего, однако какая-то часть собачьего сознания признавала мое главенство; думаю, что-то в этом роде испытывали крепостные дядьки к своим малолетним барчукам.

Нам на радость в доме нашелся потертый малиновый мячик: то ли брат Игорь запихал в мой чемоданчик, то ли завалился с довоенных лет. Мы с Рексом затеяли было футбол, но мячик оказался слишком маленький и шустрый, беготня за ним превратилась в бесполковую возню. Игра обрела смысл, только когда, юркнув у нас между ног, мячик пересек обсаженную ирисами лужайку и с высоты каменной стены, подпирающей террасу двора, сиганул в виноградник. Подбежав к краю лужайки, мы увидели, как он скакнул по комьям и, подпрыгивая, покатился под гору. С тех пор мы перестали гоняться за мячиком по двору. Выбежав утром из дома, я показывал Рексу малиновую приманку, Рекс включался без промедления, взволнованно поскуливал и перебирал

лапами. Я изо всех сил кидал мяч в виноградник, Рекс тут же срывался с места. Обычно минут через пять он возвращался с находкой в зубах и, помахивая хвостом, клал ее у моих ног. Однако случались неудачи, поиск затягивался, и я отправлялся Рексу на помощь: по каменной лестнице сбегал к винограднику, пробирался к тому месту, где мячик скатился с террасы двора, и нырял между лозами. Вот было время! Пекло солнышко, веял ветерок, шуршали виноградные листья, шелестела кукуруза, лопотали стручки фасоли. Мы с Рексом вдруг сталкивались в междурядьях: он смотрел вопрошающе, как бы приподняв брови, я молча разводил руками.

В самые жаркие дни мой рассудительный друг менял тактику: к полудню, набегавшись, он уже не приносил найденный мячик, а косясь на меня, трусил на пригорок и ложился там на траву под акациями, положив находку между лап. На меня он порыкивал и даже слегка скалил зубы, словно говорил: «Брось, дурень! Не суйся! Лучше передохнем». Я не возражал. Улегшись рядом, клал ноги ему на спину.

Наши игры с Рексом всплывают в памяти размыто, как из тумана, кажется, что я дорисовываю их воображением. Только две картинки отчетливы без изъяна, как качественные фотоснимки. На одной великолепная немецкая овчарка с иссиня-черным загривком и светлым подбрюшьем взвилась в высоком прыжке и тычет мордой малиновый мячик; на другой мы с Рексом сидим на лужайке перед домом, Рекс на две головы выше меня.

Не знаю, почему Рекс всегда жил в моей памяти. А вот соседская девочка Нани появилась неожиданно, с началом этих записок: хорошенъкое лицико с неизменной улыбкой — выжидающей, хитренъкой и глуповатой.

Nani

Нани жила за оврагом, пролегавшим позади нашего двора. Неглубокая балка, бегущая вдоль горы, около нас круто сворачивала в ущелье и разверзлась в пугающий провал с гигантскими валунами на дне. Если б не эта природная аномалия, мы с Нани были бы близкими соседями: мы перекликались, не сильно повышая голос, но попасть друг к другу могли только обходными тропами.

Нани наведывалась часто, случалось, по два раза на дню, однако не сказать, чтобы ее появление радовало меня. Причина была в возрасте: в детстве разница в четыре года заметна еще больше, чем в старости. Нани была вдвое старше меня, к тому же девочка. Ее не увлекали ни футбол, ни поиски мячика на пару с Рексом. Она предпочитала игру в «дочки-матери»: приносила с собой тряпичную куклу Циру, заботливо нянчила ее, а заодно с упорством сварливой жены прививала мне навыки семейной жизни. Цире, естественно, отводилась роль нашей дочки. У дочки была страшненькая мордашка, нарисованная огрызком химического карандаша — перекошенный рот и вытарашенные глазки. Но не внешность Циры отвращала меня от семейной жизни. Наши «дочки-матери» раздражали заземленным бытом и каким-то чрезмерным реализмом. Взвинченно и плаксиво (так разговаривала мать Нани, чей голос порой доносился из-за оврага) Нани шпыняла меня и гнала то на мельницу, то за хворостом, то на родник, а сама тем временем хлопотала у очага: готовила лобио в горшочке, пекла кукурузные лепешки, варила компот из дичков. У нее была самодельная глинянная утварь и найденный где-то эмалированный ковшик. После обеда Нани укладывала Циру спать, прикрыв крошечным лоскутным одеяльцем. Ужас в глазах спящей куклы и ее перекошенный рот заставляли меня переворачивать ее на живот, лицом вниз, но Нани каждый раз возмущалась: «Балда! Ребенок только что покушал! Она же будет пукать».

Эту часть семейных забот я готов был терпеть ради мира в семье, временами даже увлекался отцовством. Но Нани оказалась еще и прирожденной медичкой-фельдшерицей.

Она что ни день купала Циру, мыла ей голову, вычесывала вшей, делала уколы и ставила клизмы. Тут мое терпение иссякало: я ерничал, по-детски грубо бузил, а однажды схватил Циру, уснувшую после санитарной обработки, и запустил в виноградник. Не успел я ужаснуться своему святотатству, как Рекс, крутившийся поблизости, принес куклу и положил у моих ног. При этом его морда внятно выражала сочувствие и мужскую солидарность.

Словом, «дочки-матери» не задались, семейная жизнь не сложилась. И только часы, проведенные за рисованием, сближали нас. Тут я был в своей стихии.

На листках в косую линейку, вырванных из тетради тети Елены, я рисовал войну — комиксы, рожденные фантазией мальчишки: горящие самолеты со свастикой, бухающие танки, кувыркающиеся вверх тормашками взорванные фрицы, красные флаги с пятиконечной звездой. Рисование сопровождалось имитацией взрывов, пулеметных очередей и одиночных выстрелов. Нани расширявшимися глазами разглядывала детские каракули и слушала захлебывающийся репортаж. Восьмилетняя девочка, она училась во втором классе, но в болтливости не могла со мной тягаться. От этого увиденное и услышанное вызывало у косноязычной деревенской девчонки простодушный восторг, и к ее неизменной улыбке, которую я так и не разгадал, примешивался оттенок восторженного умиления...

Подобно стоп-кадру с Рексом у меня и от Нани остался на память моментальный снимок: перегнувшись через край ржавой бочки с дождевой водой, Нани пытается извлечь со дна уроненную мной серебряную солонку; тонкие детские ноги беспомощно болтаются в воздухе, куцее платьице едва прикрывает худенькие ягодицы с белой полоской застиранных трусиков. Картинка из коллекции бедолаги Гумберта, непонятно как угодившая в мой деревенский альбом.

Выход за пределы двора

За что я признателен Нани, так это за нарушение табу — выход за пределы частокола, ограждавшего двор. Она вывела меня в ойкумену, освоение которой стало на ближайшие годы содержанием моей жизни. Впоследствии я обследовал весь горный массив, гигантским амфитеатром венчающий Дзиурульское ущелье и несущий на себе нашу деревню с лесами, виноградниками, оврагами и безлесными пастищами на вершине; облазил окрестные горы, поросшие каштаном и дубом, побывал в соседних селах — Цеми, Илеми, Кицхи, Гантиади, Легвани, Шроша... Я нырял в чистые воды двух речек-сестричек Дзиурулы и Чхеримелы, сливающихся у красивого моста, видимого из нашего дома; изучил даже невзрачный, трущобный поселок над станцией, с его затруханной почтой, пахнущей пылью, сургучом и клейстером, нищим сельпо, пахнущим дегтем, пенькой и крестьянским потом, с пещерно-мрачной электрической мельницей, пропахшей мышами и размолотой кукурузой, с бедным клубом и убогой общагой, напитанной духом жареной трески, непростиранного белья и зря пролитой спермы, и белеными известкой парикмахерскими, разящими тройным одеколоном и махрой. Почему-то я сторонился ветпункта и амбулатории, хотя не знал их назначения, и обходил продымленный дочерна кирпичный заводец с анемичными транспарантами и линялым портретом Сталина. В двенадцать-тринацать лет, прячась от вооруженных ЧОНовцев, я спускался на дребезжащих вдоль ущелья товарняках до Зестафони и поднимался до Харагаули. Моя ойкумена день ото дня расширялась.

Но к первому шагу меня подтолкнула Нани — за руку вывела со двора, и первые территории, соразмерные моему малолетству, запечатлевались ярче увиденных впоследствии.

Наш сад

По совести, даже в четыре года сад не был такой уж далекой землей. Он начинался в конце двора, по другую сторону проселочной дороги, однако был так обширен, что противоположным краем выходил к каштановому лесу, их разделяла широкая кремнистая тропа, по которой гнали в гору деревенское стадо.

На площади в полгектара росло всего шесть или семь фруктовых деревьев, да упрямо плодоносил живучий орешник. По-над проселком маялся от заброшенности сиротливый огородец — фасоль с хилыми стручками, кукуруза без початков, две-три тыквочки. Тут же покачивались на высоких стеблях малокровные бледные розы. (При разделе земли после смерти деда сад отошел бабушке, думаю, этим и объяснялась его скучность и неухоженность.)

В дальней части сада, за орешником, громоздилась груда камней. Свезенные отцом для закладки дома, они так и остались лежать там, зарастая терновником и превращаясь в безмолвный укор моей непрактичности. Поодаль от отцовского кургана взмывал в гору крутоисклон, называемый в семье «надел Маргариты», отгороженный от верхнего виноградника высоким плетнем. Плетень так густо зарос ежевикой, что совсем не был виден, а крутоисклон и виноградник наперегонки подбирались к деревенскому кладбищу, обозначенному купами больших деревьев. Где-то здесь я учゅял запах, остановивший меня на бегу и запомнившийся на всю жизнь.

Ежевичный холм

Кремнистая тропа отделяла сад от большого леса. Достигнув нашего крутоисклона, тропа отклонялась влево и, прораввшись сквозь чапыжник, удивленно останавливалась: у нее на пути, между лесом и кладбищем круглился холм. Эка невидал в холмистой Имеретии! Но этот холм был так округло лобаст, что его идеальная геометрическая форма рождала недоумение — кто это сделал? и зачем? Холм выпирал из земли как полушарие огромного глобуса. Можно было подумать, что кто-то (уж не инопланетяне ли?) оборудовал под его покровом научный центр, оснащенный космической техникой. На гладкой округлости ни деревца, ни куста, только ежевичные плети да пробившиеся тут и там хилые пучки травы. Живности никакой — ни кузнечиков, ни ящерок, даже заблудшего муравья не припомню. Здесь не порхали бабочки, не зависали стрекозы. Казалось, и птицы, на все голоса заливающиеся по другую сторону балки в гуще деревенского кладбища, облетали стороной лобастый холм.

Странное место. Загадочно безлюдное. Но не мертвое. Напротив, холм был полон угрюмой силы, выпирал из земли как угроза, как предостережение. От чего предостерегал он? чем грозил? Я не понимал этого четырехлетним малышом, не понимаю и сейчас. Но только так могу хотя бы отчасти выразить то, что заставляло меня настороженно примолкнуть всякий раз, когда я оказывался здесь. Впрочем, это не мешало мне лакомиться подсохшей на солнце перезревшей ежевикой, стлавшейся по округлости холма.

Земляничная поляна

Место, играючи одолевшее мою детскую робость, — земляничная поляна: ложбина, согретая солнцем и пахнущая земляникой и разнотравьем. Насколько угрюмо выпирал из земли ежевичный холм, настолько приветливо прогибалась и ластилась земляничная поляна. Ее изумрудный покров пестрел луговыми цветочками:

лютики, васильки, незабудки, колокольчики... Вымахавшие среди них ромашки и одуванчики казались дылдами в малышевых яслях. С тех пор во мне живет нежность к беззащитной прелести луговых цветов, хотя ощутить ее с детской непосредственностью впоследствии не удавалось. Четырехлетний малыш видит лютики и незабудки не так, как взрослый мужчина, а гораздо подробней, почти вровень с их младенчески доверчивой чистотой, буквально лицом к лицу.

Так глаза в глаза я видел и мураву, и хлопотливую живность, копошившуюся в ней. Чего не сыскать было на ежевичном холме, в изобилии водилось здесь: жучки, букашки, муравьишки, кузнечки и козявки разных мастей и видов.

Но пуще них меня занимали большие мохнатые гусеницы, ярко-голубые, словно обсыпанные бирюзовой крошкой. Я достаточно изучил их, чтобы увидеть сливочно-желтые складки, приоткрывавшиеся в движении, а их маленькие головки оказались похожи на головы крошечных носорогов с губастым ртом, малюсеньким рогом над ним и антрацитно блестящими глазками.

Бирюзовые гусеницы представляли собой на земляничной поляне большую редкость. Реже них появлялись только божьи коровки. Этих невозможно было ни отыскать, ни поймать, они объявились сами: вдруг обнаруживались где-нибудь на запястье, как капелька крови, проступившая у основания большого пальца. Чуть щекоча пушок на руке, капелька двигалась вверх по руке и надолго замирала. От своей подруги по играм я узнал, что божья коровка вхожа в дом Господа — за незлобивость и кротость, а кому повезет увидеть ее взлет, того Бог одарит богатством и счастьем. С глуповато-счастливой улыбкой на лице Нани раз десять подряд шептала заклинание, побуждающее божью коровку к полету, благодаря чему я запомнил его наизусть. С тех пор я не раз наблюдал безмолвный старт крошечного жучка и не исключаю, что именно ему обязан своей везучестью в молодые годы. Шепча заклинания, я наблюдал, как твердая красная капелька выпускала из-под панциря прозрачные крыльышки, точнее, превращала в крыльышки свой пунцовый панцирь, и начинала трепетать ими с такой частотой, что оборачивалась матовым шариком размером с горошинку. Не издав ни звука и не потревожив ни волоска, божья коровка устремлялась в небо, к своему хозяину.

Кого не надо было побуждать к полету, так это бабочек. Они сами слетались на земляничную поляну и начинали легкий сумбурный танец: порхали, играли в пятнашки, задирались, садились на траву и взлетали на кусты; вдруг исчезали, слепив крыльышки за спиной, или прикидывались цветком на колеблющемся колоске, легкие, бездумные, фривольные. Порой, оставив на поляне пару-другую неофитов, вдруг исчезали вовсе, брали паузу — перевести дух — и возвращались поодиночке, смущенные и рассеянные; легкомысленная, богемная труппа, баловни публики. Не берусь назвать поименно ни солисток, ни кордебалет, но несомненно там были махаоны и капустницы, траурницы и адмиралы, супруги и прелюбодеи — белые, желтые, салатовые, голубые, терракотово-красные, бархатно-черные с пунцовой оторочкой и аспидно-черные с оранжевыми глазками, маленькие, как почтовые марки, и большие, как купюры экзотических стран.

На ежевичный холм мы с Нани взбирались настороженно и ненадолго, поклевать ежевики и убежать, а на земляничной поляне играли часами, кувыркались в траве, собирали цветочки, бегали за бабочками, накрывали горстью кузнециков, при этом на каждом шагу соблазняясь душистой земляникой.

Прекрасное деревенское кладбище

А между холмом и поляной колыхались купы старых деревьев. В их тени лежало деревенское кладбище, с трех сторон охваченное ухоженным виноградником.

Дорога к кладбищу ответвлялась от проселочной, развилика была близ земляничной поляны. Эта дорога тянулась ровно и чинно, робко заастая с краев клевером.

По правую сторону ее ограничивала каменная стена грубой кладки, подпиравшая террасу виноградника; по левую — высокий плетень, увитый плющом и повиликой. Так между двух преград печальная эта дорога подступала к кладбищу и мягким впускающим жестом вводила в его пределы.

Посередине, на взгорке, стояла церковь. Сколоченная из каштановых досок и крытая местной черепицей, она была соразмерна кладбищу. Ее стены, изначально выкрашенные аквамариновой краской, выцвели, а черепица на крыше потемнела от мха. Под навесом кровли и водостоками синева стен сохранилась. В подвижной тени и зыбких бликах солнца сине-голубая церковь казалась видением в романтических дебрях. Только в пасмурные дни, избавившись от подвижной ряби, она обретала четкость. Тогда было видно, что с одного боку к ее выступу притулился огромный кувшин-амфора, наполовину врытый в землю: блудный сын у колен любящего отца. В кувшине разводили раствор медного купороса (для опрыскивания виноградника), и его бока и брюхо были в бирюзовых подтеках.

Рассеянный сумрак деревьев создавал впечатление, что ты на дне водоема, пронизанного солнцем, или в огромном разрушенном храме. То тут то там яркие лучи пробивали листву и, пресекшись, вспыхивали в другом месте. Световая игра сопровождалась перекличкой птиц, звучащей радостно и удивленно. Кроны деревьев до того перепутались ветвями, что со старой осины сыпался липовый цвет, береза роняла желуди, а в листве вяза глазком павлиньего хвоста вспыхивали цветы мимозы. И ни одного каштана. Почему-то на нашем кладбище, окруженном каштановыми лесами, не росли каштаны.

Особняком держалась пара надменных кипарисов, да порознь печалились две сосны. Одна нашенская, простецкая, зато другая оказалась ливанским кедром. Его ствол пустил из себя пять мощных ветвей, придавших дереву сходство с гигантским канделябром. Ствол истекал душной горькой смолой, местами затвердевшей, как спекшаяся кровь. А пять ветвей, превративших дерево в зеленый пятисвечник, сплошь увили мелкие, как гвоздики, белые розы.

Но не чужедальние розы и кедр удивляли на нашем кладбище, а родные дуб и липа. Деревья такой красоты и могущества — редчайшая редкость! Все, что росло вблизи них, казалось подлеском. Филемон и Бавкида! В греческих преданиях есть миф о вечных супружах, превращенных в божественные деревья. Эллины знали, кому отвести эту роль. Удивительно другое: как Филемон и Бавкида попали на наше кладбище? Их благодатной тени хватало всем — в те годы никого не хоронили на солнцепеке.

Я увидел наше кладбище в его лучшую пору. Оно было не старое и потому небольшое. Райские кущи! В густой тени на зеленом пригорке лежало с полсотни каменных надгробий, высилось три мрачных саркофага да ржавели пяток крестов, сваренных из алюминиевых трубок и посеребренных нестойкой краской, один из крестов нежно обвил повитебль.

На большинстве надгробий были высечены овцы и рыбы и начертаны кресты; на некоторых выпирали странные каменные нарости с отверстиями, смахивающими на окуляры, заглядывать в них было жутко. Кое-где попадались детские могилки с надгробиями, похожими на ларец, а то и шкатулку, они заросли мхом так густо, что слились с рельефом. И нигде никаких дат, ни рождения, ни смерти.

Над райскими кущами перепархивали птицы, а землю заполонили жучки кирпичного цвета, с крестом и глазками на спине. Нани, со своей невнятной улыбкой, сообщила мне, что это воинство смерти, однако вид у них был вполне безобидный, я часто развлекался, подставляя им то прутик, то стебель травы; дойдя до его конца, они терялись, тыкались в разные стороны и неохотно перебирались на мои пальцы. Я тут же стряхивал их, хотя мне не было страшно.

На кладбище не было ничего страшного. Только одно надгробие пугало меня. Шагах в пяти от паперти лежал могильный камень, превосходящий размерами все

остальные. Синеватый, гладкий, не украшенный никакими рельефами, он был чуть стесан по краям, мощный в плечах, сужался к ногам и заметно кренился набок.

Мне казалось, что этим камнем придавлен могучий богатырь, убитый коварными заговорщиками: он много раз порывался встать, чтобы расквитаться с ними, но не в силах сдвинуть плиту, лишь слегка накренил ее.

На этот камень я ни разу не присел. Сколько помню, на нем никто никогда не сидел. Чью могилу он прикрывал? Кто покоялся под ним? На плитах не было не только дат, не было ни имен, ни эпитафий. *Silentium*.

Поодаль от могилы богатыря ливанский кедр укрывал своей тенью самое нежное и красивое захоронение нашего кладбища. Тесный дворик, огражденный стальной сеткой, переполняли гортензии. В глубине дворика, в правом углу, между лиловово-голубых соцветий белела мраморная стела с овальной фотографией, лицо красавицы с длинными распущенными волосами, похожей на звезду немого кино, то выглядывало из цветов, то опять скрывалось.

Ветер колебал гортензии, скрывающие красавицу, но каким ветром ее занесло к нам на деревенское кладбище? И кто ухаживал за печальным двориком, запертым на замок?

История нашей церкви

В нашей округе немало старых церквей. За горой, в Верхней Цеве, стоит каменный храм XII века. Декорирован он скромно, расписан скверно — в период упадка, но кладка стен, плотная и чистая, внушает уважение к средневековым каменщикам.

В восьми километрах вверх по автостраде, на берегу Дзирулы, укрылась в ложбине небольшая базилика IX века. Ни разу не перестроенная, она прекрасна своей подлинностью, но прославлена не возрастом, а фресками XIV века: росписи Убисской базилики знают специалисты всего мира.

Ничего подобного не скажешь о нашей церкви. Сооружена была она на исходе позапрошлого столетия, наспех и неосновательно сколочена из досок и выкрашена в синий цвет, а иконостас привезли из кутаисских мастерских и на арках подняли на гору. Единственным старинным предметом была Библия, неподъемно большая, с серебряными наугольниками и крестом на окладе и толстыми потемневшими страницами светло-горчичного оттенка. Она лежала на алтаре, и мы иногда робко листали ее. Библия была написана на хуцури, который в нашей деревне читал только Коля Каландадзе, бывший семинарист и книжочкой. Для нас она оставалась недоступной и пугающе чуждой, как разбросанные вокруг нее семисвечники, лампадки, паникадила, облупившаяся епитрахиль и мятые латунные кресты.

Нелепо после убисских фресок заводить речь о росписи нашей церкви, однако художник кутаисской мастерской оказался весьма мастеровит. Он украсил алтарь четырьмя ростовыми иконами, ликами евангелистов на Царских вратах и канонической Тайной вечерей над ними.

По левую сторону от Царских врат располагались Богородица с младенцем и Нина Каппадокийская, по правую — Вседержитель с державой и Георгий Победоносец. Кутаисского мастера я не случайно называю художником, а не иконописцем: уж больно он увлекся фактурой тканей и драпировкой одежд, бликами на латах и щите Святого Георгия, а особенно милотой женских лиц — Богородицы и Нины Каппадокийской. Загадкой для меня было сходство всех четырех изображений, в особенности Нины и Святого Георгия, они казались прямо-таки двойняшками. Похоже, мастер не утруждал себя разнообразным портретированием; он нашел *образ*, возвышенный и чистый, набил руку на его воспроизведении и, почти не внося

изменений, драпировал шелками и бархатом или пририсовывал усы и бороду. А Равноапостольную Нину одарил темненьким пушком над губой, не в меру чувственным для святой.

Наша церковь изначально производила впечатление хрупкости и недолговечности, продлить ее жизнь могла только неустанная забота. Крушение началось с кровли — растрескалась и посыпалась черепица. Сквозь щели потекло на стену против алтаря.

Эта сторона церкви вызывала у меня не интерес, а ужас. Я старался не смотреть на нее с тех самых пор, как четырехлетним мальчиком, уцепившись за платьице Нани, впервые увидел на черной подгнивающей стене ржавые венки с пестрой рванью и истлевшими лентами, вяло колеблющимися от сквозняка, и испуганно попятился. Подгнившая стена с венками на крюках стала для меня образом Апокалипсиса. Казалось, там гнездились чума, холера, проказа, все средневековые беды и ужасы. Ржавые венки на крюках контрастировали с красивым, малиново-лиловым и багряно-изумрудным иконостасом, как режущая слух какофония — с тихим стройным хоралом. Может статься, что чуждая погребальная атрибутика, невесть как попавшая в виде железных венков в нашу церковь, ускорила ее крушение, во всяком случае, не предотвратила его. Так или иначе, к началу 80-х годов, не дотянув до столетия, церковь рухнула. В последние годы разгулявшаяся молодежь даже способствовала развалу ее стен, дабы не длить агонию. Библию и иконы отвезли Коле Каландадзе, а остатки стен разобрали на дрова. Голубой мираж, струящийся в жару между густыми деревьями, исчез; на его месте остались мелкий фундамент и заросшая мхом каменная паперть.

Именно в это время в недолгой и печальной истории нашей церкви зарождается сюжет, уводящий ее из деревни в большие северные города и европейские столицы.

С отроческих лет помню в деревне имя — Амиран. Мужественное и благозвучное, в грузинском восприятии оно обогащено фольклорными ассоциациями: Амираном зовут героя грузинского мифа, предтечу Прометея. Чуткий слух Булата Окуджавы рассыпал обаяние этого имени и наделил им рассказчика лучшего из своих романов «Путешествие дилетантов». «Из записок князя Амирана Амилахвари» — читаем мы, приступая к истории романтической любви.

Фамилия нашего Амирана была Ниорадзе, и он не был князем, хотя внешностью и повадкой вполне соответствовал бы титулу — так я представляю себе этого человека. Удивительно, но за всю жизнь нам ни разу не довелось встретиться, притом что оба происходили из небольшой деревни, которую часто навещали. Это можно объяснить только разницей в возрасте: когда я рисовал на листках в косую линейку комиксы о войне, сопровождая имитацией пальбы и взрывов, Амиран воевал на фронте и, отступив до Волги, двинулся в обратном направлении.

После войны он несколько лет азартно вкушал забытые радости мирной жизни, едва не перебрал, но спохватился — остынился, женился и породил на свет кучу детей, причем исключительно девочек, кажется, полдюжины. Однако никто из многочисленных друзей даже во хмелю не назвал его бракоделом, такие уродились девчонки. Что до женщин, то в их среде бытует мнение об исключительных свойствах мужчин, от которых рождаются девочки; на эту тему со знанием дела рассуждает любимая женщина Гарри Моргана, однорукого контрабандиста из хемингуэевского «Иметь и не иметь».

Наш Амиран не был ни князем, ни контрабандистом. Человек обстоятельный и сильный, четыре года просидевший за баранкой «студебеккера», он не метался в поисках профессии и всю жизнь проработал водителем междугороднего автобуса. Испробовав разные маршруты, выбрал для себя «Тбилиси — Батуми». Часть автострады, по которой он вел свой автобус, проходила вдоль речки Дзиуры, у нас под горой, и, проезжая мимо, он всякий раз сигналил — родным горам, людям, родникам и виноградникам. Он попросил друзей из автопарка усилить сигнал его автобуса, довел

его до того фортиссимо, которого в особых случаях дирижеры требуют от своих «медных». (Помню, как Евгений Светланов слал восхищенные поцелуи своим тромбонам и трубам после музыкального антракта в вагнеровском «Лоэнгрине».) Амиран несомненно заслужил бы поощряющий жест маэстро. На пути из Батуми в Тбилиси звук его трубы раздавался, когда сверкающий «Икарус» выкатывался из-за поворота над кирпичным заводом; второй раз он звучал на изгибе шоссе напротив скалы Нахидвари.

Оркестровые трубы почему-то называются «медные», тогда как в минуту фортиссимо они исторгают чистое серебро. Амирана слышала вся деревня, сигнал не достигал только вершины горы. Многие оглядывались на звук, некоторые даже махали рукой в сторону шоссе, хотя понимали, что Амиран их не видит.

Спасибо тебе, Амиран! Сам того не ведая, ты вносишь в наши мальчишеские души прекрасную ноту свободы, смелую и радостную...

И вот через тридцать лет после тех впечатлений, в конце восьмидесятых, в моей московской квартире на Ленинградском проспекте раздался телефонный звонок, и низкий мужской голос сказал: «Я Амиран Ниорадзе».

Увы, нам и в тот раз не довелось встретиться.

К тому времени появление в Москве моих односельчан перестало быть редкостью. Среди них были совсем родные, как Малхаз — внук Габриэла и Мариам: за ним я сам ездил в Мытищи к месту прохождения службы в стройбате и за две бутылки водки забирал у старшины на двухдневную побывку. Были и незнакомые, как славный парнишка Ачико, — когда жена полюбопытствовала, кем он мне доводится, я без тени юмора ответил: «По-моему, когда-то тетушка Елена показала мне на дзирульском мосту его дядю». Большинство односельчан приезжали по медицинской надобе, и мне удавалось им посодействовать: в те годы у писателей были своя поликлиника и больница, где не требовали генетического анализа для доказательства родства. Наиболее бесцеремонные приезжали за покупками, на шопинг, сказали бы сегодня.

Случай Амирана, оказалось, исключительный.

Он рассказал мне, что у двух из его многочисленных дочерей обнаружился талант: одна поет, другая танцует. Почувствовав, что характеристика прозвучала слишком обыденно, по-домашнему, он поправился: одна певица, другая балерина. В Тбилиси девочки произвели хорошее впечатление, но он хотел бы показать их в Москве... Суть звонка сводилась к следующему: нет ли у меня кого-нибудь в Большом театре, чтобы устроить просмотр и прослушивание.

Вопрос озадачил: связей в театральной среде у меня не было, а замах Амирана на Большой показался чрезмерным. Я посоветовал Амирану обратиться в постпредство, к советнику по культуре: в этой должности тогда подвизалась Русико Хантадзе, жена моего друга Бориса Андronикашвили, а сам вызвался предварить их визит звонком постпреду Нодару Медзмариашвили, человеку в высшей степени доброжелательному и обязательному.

Может быть, мой ответ показался Амирану формальным, но он даже не объявился в постпредстве. Во всяком случае, следующая весть о сестрах Ниорадзе, певице и балерине, доходит из Санкт-Петербурга, где они обе уже солистки Мариинского театра — оперной труппы и балета. Поразительно!

Популярность Ирмы — так зовут балерину — стремительно растет. Через несколько лет зарубежные гастроли делают ее мировой знаменитостью, она чаще танцует на сценах европейских столиц, чем в Питере. Знатоки объяснили мне, что во Франции ее буквально обожают, она напоминает французам знаменитую солистку Гранд-Опера, любимицу послевоенного Парижа. Балетоманы — каста; они готовы на все ради античного жеста Лиепы или цыганской повадки Плисецкой. Что французы разглядели в Ирме Ниорадзе, ведомо им одним, но их любовь обделила остальных почитателей танца.

Помню, как мне бросилась в глаза гигантская растяжка на пересечении Смоленского бульвара с Новым Арбатом, где завершалась отделка отеля «Плаза» — красными буквами по белому полю: «Блистательная Ирма Ниорадзе в Москве!» «Надо бы сходить к ней с букетом роз», — подумал я, но не подумал, что следует поторопиться: гастроли оказались быстротечные — Ирма была нарасхват...

Трагедия родины вернула ее домой. В страшные девяностые, не пережив свалившихся на Грузию бед, умер Амиран Ниорадзе.

В стране царила такая разруха, что знаменитым сестрам с трудом удалось перевезти тело отца в родную деревню и похоронить на нашем кладбище.

К этому времени кладбище разительно изменилось, проросло ржавыми оградами, выбралось из-под деревьев и поползло на пригорки. Каменная паперть — след старой церкви — рассыпалась и стерлась. В довершение рухнул наш дуб-великан. Снег ли перегрузил исполнинскую крону, корни ли устали держаться за землю, но он повалился на исходе многоснежной зимы и долго ждал, пока люди распилият его на части. Необъятный ствол напрашивался стать давильней, но деревянных давилен давно уже не делают.

Райские кущи вокруг бирюзовой церкви обернулись обычным деревенским погостом, однако Амиран Ниорадзе пожелал вернуться на родную землю, и семья выполнила его желание.

А через несколько лет на месте разрушенной церкви Ирма возвела новую — каменную. В сущности, она взяла на себя все расходы, а работала вся община. Рвением и старательностью мои односельчане смывали грех с души, смягчали угрозения совести. Образ старой церкви, печальный и красивый, все еще стоял перед глазами, многие помнили ее, аквамариновую в зеленой куще.

Друг детских лет, добровольный прораб «покаянной» стройки Анзор рассказывал мне о трудностях, преодоленных каменщиками-самоучками, о поисках пригодных для кладки блоков, их доставке, обработке и тщательной подгонке. Решение некоторых трудностей приходило во сне, среди ночи, чуть ли не по подсказке святых-чудотворцев. «Того гляди, и впрямь в Бога уверую», — смущенно посмеивался Анзор, отпирая мне тяжелую церковную дверь. За дверью не было красивого иконостаса, малиново-лилового и багряно-изумрудного, не было также ни четырех седогривых евангелистов, лица которых запомнились с детства, ни неподъемной библии с серебряными наугольниками и потускневшим крестом.

Но вот уже пятнадцать лет церковь стоит, крепенькая, коренастая, увенчанная железным крестом, и каждую неделю молодой батюшка служит в ней и смущенно машет паникадилом, отгоняя напасти от односельчан Амирана Ниорадзе, чей серебряный сигнал помнит ущелье Дзирулы.

Лучший виноградник дяди Габриэла

Голубую церковь из каштановых досок и деревенское кладбище подковой охватывал лучший виноградник дяди Габриэла. Один его край подбирался к ежевичному холму, другой прикасался к земляничной поляне. Из трех виноградников дяди этот был самый щедрый. Лоза за что-то возлюбила солнечную ложбину, обнявшую красивое кладбище, и дядя Габриэл решил не утеснять ее ни соей, ни кукурузой, ни фасолью. Лоза отблагодарила сторицей. Только в этом винограднике в пору *ртвели* слышались радостно-изумленные возгласы женщин и счастливый смех, с каким они предъявляли друг другу не умещающиеся в руках тяжелые гроздья: «Глянь сюда, сестричка! Нет, ты только глянь!» — «А такое видела?» — «Дай хоть подержать, порадоватьсь!» Так счастливые молодки хващаются крепенькими сияющими малышами. В этом винограднике чаще, чем где-нибудь, обнаруживались скопления гроздьев на

лозе, до пяти-шести в тесном соседстве: бережно срезанные, они являли собой чудо природы, ювелирный шедевр женолюбивого мастера. Перемежаясь вязанками красного перца и расчехленными золотыми початками кукурузы, они развесивались по всему дому — на веранде, под потолком, над окнами, даже у входа в погреб, превращая дом в языческое капище, в храм Диониса на краю каштановой рощи.

Осенняя ночь

Год не помню; думаю, вторая деревенская осень. Конец *ртвели*, стало быть, октябрь. Виноград частью отжат, частью увезен на арбах. Соседи, помогавшие в сборе винограда, разошлись. Нас в доме снова пятеро.

Бабушка сварила *пеламуши* — мусс из пшеничной муки на виноградном сусле. Его лучше не трогать, пока не остынет. Чтобы скоротать нетерпеливое ожидание, выхожу на веранду. Перед верандой, над лужайкой, в ночи розово светится ладонь. Маленькая, нежная, с прожилками и смутно темнеющим оставом пальцев, она тихо светится изнутри.

— Нани! — окликаю я. — Это ты?

— Я,— отзыается Нани.

— Я думал, ты ушла домой.

— Ухожу...

Светящаяся ладонь движется в мою сторону. Нани держит перед собой коптилку и рукой прикрывает ее от ветра. Огибает веранду и направляется к дубам на заднем дворе. На меня большой черной кляксой наплывает колышущаяся тень.

Ночь пахнет сладким суслом, дымом осенних костров, пресной влагой кукурузных метелок.

Бабушка

Я плохо помню бабушку, худую старуху с узким продолговатым лицом, изборожденным морщинами. Таких величавых морщин не знают нынешние городские старушки, суетливые клиентки парфюмерных магазинов и косметических салонов. Морщины бабушки, прочерченные долгой жизнью, были обожжены камином и солнцем и подчеркнуты ее неизбывным горем — гибелью единственного сына. Но до глубокой старости узкое сморщенное лицо обрамляли высокие дуги бровей, придававшие облику бабушки породистую надменность.

Помню ее в плотном сатиновом платке, неизменном черном платье до пят и в стоптанных туфлях.

Немногословная, словно окаменевшая в своем горе, она неловко передвигала в камине тяжелые глиняные сковородки, или — *кеци*, обжигалась о закопченный кумган и мятую алюминиевую кастрюльку — хозяйничала, как могла. Покончив со стряпней, она устраивалась в продавленном кресле у подслеповатого окна и читала; до последних дней читала без очков, отдавая предпочтение классике и переводным романам и отказываясь от новинок, азартно пропагандируемых тетей Еленой.

Живой интерес к литературе породил идею, которой бабушка поделилась со мной, когда мне было лет пятнадцать: «Ты хорошо владеешь русским и грузинским, почему бы тебе не заняться литературным переводом...» Она сказала это деловито, как толковый прораб, распределяющий наличную рабсилиу. Тем самым бабушка предсказала, точнее, подсказала мне профессию, ставшую делом моей жизни.

С годами стало понятно, что подобно тому, как определенный участок мозга отвечает за образное мышление, сферу тонких рефлексий в нашей семье продуцировала бабушка. Скорее всего, сказалась генетика, ее происхождение из потомственного

духовенства — епископ Кутаисский, видный богослов и проповедник, доводился ей дядей: его впечатляющее фото до последних лет хранилось в семейном альбоме, а вот имя запамятовал, тоже впечатляющее, чуть ли не Гермоген.

Бабушка умерла в конце пятидесятых. Среди родни, прибывшей на похороны, были два ее знаменитых племянника — художник Алекси Вепхвадзе и поэт Васо Горгадзе: первый был автором знаменитого батального полотна «Ранение Петра Багратиона на Бородинском поле»; удостоенная Сталинской премии, картина по сей день украшает один из залов Бородинской панорамы у Триумфальной арки в Москве; второй племянник прочитал перед похоронами отрывок из поэмы, посвященной усопшей, и положил ей в гроб томик своих стихов.

Слушая поэму, я понял, что почти ничего не знал о ней, немногословной замкнутой гордячке: поздно вышедшая замуж, она попала в чужую среду и, похоже, тяготилась ею, но была так молчаливо горда, что даже голоса ее толком не помню. А может быть, причиной замкнутости было раннее вдовство. Каково остаться в чужом доме с пятью детишками на руках — старшей дочери не было десяти лет, а младшей еще предстояло родиться.

В памяти всплывает единственное событие, живо связавшее нас.

Мы идем по проселку мимо редких домов нашей деревни. Дорога, забирая все вверх и вверх, далеко тянется вдоль горы. Это меня удивляет, я не ожидал, что наше село такое большое. Похоже, это один из первых моих выходов из дома. День тихий, серый. Деревья почти оголились. Под каштанами, похрюкивая, пасутся свиньи. Мне скучно рядом с бабушкой, я то и дело забегаю вперед, и бабушка окликает меня: «Не беги! Мне за тобой не угнаться!» Голос у нее слабый, надтреснутый. Неожиданно на него откликается собака: забухала немыслимым басом-профундо. Соответствуй она своему басу, перед нами предстало бы чудище с глазами как блюдца. На деле пес оказался не больше нашего Рекса, наверное, поэтому я ничуть не испугался. Разглядев меня, он перестал бухать, уперся передними лапами в перелаз и, заглядывая мне в глаза, завилял хвостом.

Но что стало с бабушкой! Путаясь в длинном платье, роняя посох, она бросилась ко мне, обхватила трясущимися руками и запричитала, заворожила, сияясь вкрадчивым шипом просочиться мне в душу, как ей казалось, навсегда травмированную и перепуганную. Я вслушивался в малопонятное лопотание — исковерканные обломки знакомых слов, выступившие из средневекового мрака обломки старо-грузинского, мингрельского и отживших диалектов. Время от времени взволнованный шип прерывался протяжным сосущим чмоканьем, точно бабушка с усилием высасывала из меня жало испуга. Так она заговаривала на старинный лад от порчи, тика, недержания, родимчика и заикания — мало ли чем может обернуться для ребенка шок испуга. И в минуту беды и тревоги для нее ничего не значили ни прочитанные книги, ни православное благочестие, отвергающее суеверие. Бабушка спасала внука. Как могла. Как умела. Как подсказал ей язык. Забота о ребенке и порыв любви сломали ее замкнутость идержанность, разрушили коросту, нарощенную за полвека вдовства. Я так и обмер, когда сквозь истлевшее пальто услышал частое биение ее старенького сердца...

Тетушка Мариам

Совсем иначе вспоминается тетушка Мириам: насколько тиха и замкнута была бабушка, настолько шумна и открыта жена дяди Габриэла. Приход соседки, неожиданную новость, приезд далекого гостя или первые взбрыки новорожденного теленка — она все встречала возгласом веселого удивления. По утрам — ранняя птица — Мариам первая выходила из дома. Мягко ступая босыми ногами, бросая взгляд на привычную панораму, открывавшуюся из нашего дома, она выискивала глазами,

чему бы подивиться и обрадоваться. Роза на траве, первый снег, дым из трубы кирпичного завода, торчащий как восклицательный знак, нежный запах земляники, доносящийся из сада, — все было поводом для легкой души, ищущей радости и удивления. Но памятую о том, что все в доме еще спят, тетушка Мариам окорачивала себя и радовалась вполголоса, после чего,тишком перекрестившись, принималась за домашнюю работу.

Но однажды природа припасла для нее сюрприз, удививший так, как она не надеялась, да по правде и не хотела.

Выйдя поутру из дома и бросив привычный взгляд в ущелье, она ахнула: картина, представшая ей, не удивила, а напугала: речка Дзирула, протекавшая далеко внизу мимо кирпичного завода и уходившая под железнодорожный мост, превратилась в озеро. Такого не случалось даже после самых снежных зим, в бурное половодье. Ей показалось, что озеро растет у нее на глазах и вот-вот хлынет через мост. Хлипкий пешеходный мост и часть автострады были уже затоплены. «Потоп!» — ужаснулась тетушка Мариам и громко заголосила: «Оой! Оой! Оой! — вскрикивала она. — Господи, спаси и помилуй! Спаси и помилуй, Господи! Люди добрые, второе пришествие!..»

Причина потопа вскоре выяснилась. Оказалось, что минувшим вечером чуть ниже нас по течению, за кирпичным заводом, сошел гигантский оползень. Он затворил узкое ущелье и воды двух рек — Дзирулы и Чхеримелы, сливающиеся за железнодорожным мостом, стали быстро скапливаться.

Нешуточное стихийное бедствие послужило началом масштабной стройки — прокладки нового участка автострады, переноса железнодорожных путей, наведения мостов — работа растянулась на годы.

Но меня волнуют не инженерные последствия стихийного бедствия, а нотка радостного удивления в голосе тетушки Мариам. Даже при виде потопа. В нем мне слышится смелость перед лицом жизни и готовность к испытаниям. Что за характер! Как нам повезло, что этот самородок попал в наш дом! По семейному преданию дядя Габриэл нашел ее в семье знакомого из Супсы, с которым был связан делами оптовой виноторговли. Семнадцатилетняя сирота жила у родственников из милости. Чтобы удостовериться в подлинности находки, дядя Габриэл свозил в Супсу старшую из племянниц, рассудительную Маргариту, ровесницу своей суженой. Избранница дяди так понравилась Маргарите, что у нее вырвались слова, сохранившиеся в семейном предании: «Не раздумывай, дядя! Она как горлинка!» Окрыленный дядя Габриэл в две недели завершил все формальности и обряды и ввел Мариам в наш дом на горе, где она прожила всю жизнь, служа опорой каждому, кто нуждался в поддержке.

По молодости я не понимал уникальности этого характера. Тетушка Мариам казалась мне легкомысленной, пожалуй, даже глуповатой. В особенности я не одобрял потакания сквернословию Юлии — нашей бывшей работницы, еженедельно приходившей подсобить в выпечке хлеба. Юлия была армянка, едва освоившая грузинский, и, якобы по незнанию языка, позволявшая себе сальные шуточки и откровенные матюки, причем не вполголоса, а звонко, на все село. Ее выходки до слез смешали тетушку Мариам, она заливалась, как девчонка, и подзуживала хулиганку. Чего только ни позволяли себе две немолодые женщины! Унять их могло лишь появление дяди Габриэла.

Мое скрытое неодобрение фривольностей вполне согласовывалось с невысказанный догадкой о том, что тетушка Мариам не знает грамоты: я ни разу не видел ее читающей что-нибудь или пишущей.

Каково же было мое удивление, когда среди предфронтовых писем, адресованных дяде Левану, обнаружилось два письма тетушки Мариам его матери, написанные легким летящим почерком, без единой ошибки, и пронизанных такой материнской любовью, какую не смог бы воспроизвести самый тонкий и лиричный стилист.

Середина сентября. День поминовения усопших.

Тетушка Мариам, как всегда, первая выходит из дома. В этот раз она ни на что не отвлекается, а прямиком идет на кухню. Разжигает огонь в камине, заправляет сваренные загодя фасоль и рис, моет зелень, месит тесто для хачапури и кукурузных лепешек. Лицо ее при этом сосредоточено и строго, губы скорбно поджаты. Порой на глаза набегают слезы. Она утирает их основанием большого пальца, по-детски мотает головой и шмыгает носом.

Закончив готовку, тетушка Мариам раздвигает стол на веранде и, застелив скатертью, расставляет тарелки и стаканы. Теперь осталось зажечь свечки, воскурить смолу в глазуреванной миске и разлить вино по граненым крестьянским стаканам. Запах восковых свечей и дымок от смолы освятят стол. Священника не будет: тетушка Мариам жалеет недоучившегося семинариста Колю Каландадзе, но в ее понимании бедолага не может заменить священника. Ничего, она помнит слова поминального псалма и молитвы и помнит всех, для кого накрыла стол.

Середина сентября. Над горами летят журавли. Их курлыканье грустно озвучивает теплый осенний день. День поминовения. Так будет всегда, покуда тетушка Мариам стоит на ногах, покуда ей хватит сил разжечь огонь в камине и замесить тесто...

Только под конец жизни острый, как шило, ревматизм, гнездившийся в косточках ее крупного тела, пронзит ее, скрутит, переломит в пояснице и вытеснит возглас радостного удивления, с которым она шла по жизни, жалобным беспомощным стоном.

Дядя Габриэл

К бабушке и тете Мариам я относился со снисходительностью малолетнего баловня.

Все было иначе с дядей Габриэлом: на него я взирал с почтением и робостью, не позволяя при нем ни шалостей, на которые был горазд в ту пору, ни красноречивой болтливости, такой забавной для взрослых в устах малыша. Глядя на него, я помалкивал, не моргая и приоткрыв рот.

Он появлялся после полудня — приходил из виноградника, в котором работал спозаранок. Высокий, сухощавый, шел чуть нетвердо, утомленный солнцем, сопровождаемый июльским зноем и треском цикад. На нем была синяя сatinовая блузка в пятнах пота, холщовые штаны, стоптанные башмаки и широкополая соломенная шляпа, в каких тогда работали на чайных плантациях. Это крестьянское обличие производило впечатление элегантности, чуть ли не аристократичности. Он снимал желтую шляпу, вешал на медный крюк, привинченный возле двери, и садился к столу. Тетушка Мариам тут же выносила стакан белого вина, разбавленного холодной водой. Дядя Габриэл пил медленными глотками, и морщины на его заросшем щетиной лице обозначались глубже. Тетушка Мариам не отрывала от него глаз. «Уморился, Габо? — сочувственно спрашивала она и бросала негодящий взгляд на солнце. — Переведи дух, я сейчас...» С этими словами она топала босыми ногами на кухню, а старик ставил пустой бокал на стол и клал рядом свои руки. Они лежали на столе по обе стороны граненого стакана, как два отдельных предмета или самостоятельных существа. Они были некрасивые, грубые и неопрятные, со складками и трещинками на суставах, с язвочками и царапинами на тыльной стороне ладони, с жесткими мозолями и с землей под ногтями. В сравнении с бледными запястьями, высывающимися из рукавов блузы, они казались несоразмерно большими и красными и походили на отьевшихся крабов или неведомых природе красных черепах. Я, затаив дыхание, смотрел на эти руки и не смел перевести взгляд на того, кому они принадлежали.